
ЮРИЙ ВЕРХОЛИН
НОВЫЙ ГОД
ОТМЕНЯЕТСЯ!

Юрий Верхолин

Новый год отменяется!

«Автор»
2026

Верхолин Ю.

Новый год отменяется! / Ю. Верхолин — «Автор», 2026

Бойтесь своих желаний. Особенно если их исполняет говорящий какаду.Депутат Воздвиженский хотел избавиться от заграничных Санта-Клаусов и выгодно распродать залежалый товар. Но одно желание оборачивается катастрофой: усадьба настоящего Деда Мороза вместе с хозяином исчезает и оказывается в Антарктиде. Волшебство слабеет, Новый год под угрозой.Тем временем на кремлёвской ёлке праздник превращается в вооружённый захват заложников. Самозваные Дед Мороз и Снегурочка держат под прицелом президента и детей, а депутат намерен захватить власть.Чтобы спасти праздник, настоящим Деду Морозу и Снегурочке предстоит объединиться с пятью ведьмами и четырьмя котами-вихрями. Успеют ли они открыть портал в Кремль, пока не стало слишком поздно?«Новый год отменяется!» — остросюжетная сказка-триллер с политической сатирой, опасными приключениями и магией, которая не подчиняется чиновничьим приказам.

© Верхолин Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Три желания депутата 5
Конец ознакомительного фрагмента. 12

Новый год отменяется!

Часть первая. Три желания депутата



Трибуна Государственной думы обладала скрытым, мало кому известным свойством слегка пружинить под локтями, если навалиться на неё всем весом добротного шерстяного пиджака индивидуального пошива. Депутат Аркадий Борисович Воздвиженский изучил эту мелкую архитектурную податливость полированного кавказского дуба до мельчайших нюансов за два долгих парламентских созыва. Он точно знал, на сколько миллиметров проседает верхняя кромка пюпитра, если перенести тяжесть солидного пятидесятилетнего тела на левый локоть, в какой точке гибкая микрофонная стойка начинает едва слышно звенеть от металлической пуговицы на манжете сорочки и под каким именно углом следует держать холёный подбородок, чтобы объектив главной телевизионной камеры в ложе прессы брал безупречный волевой профиль — энергичный, решительный, без малейшего намёка на предательскую дряблость под челюстью.

В огромном пленарном зале стоял негромкий, ленивый рабочий гул предпраздничной недели. За высокими стрельчатыми окнами сгущались сизые московские сумерки двадцать четвёртого декабря, густо перемешанные с липкой снежной крупой и едкими выхлопными газами застрявшего в глухой пробке Охотного Ряда. В самом зале царила специфическая парламентская полудрёма, настоянная на дорогих ароматах селективного парфюма, запахе перегретого шерстяного сукна и кисловатом духе остывшего растворимого кофе из депутатского буфета. Где-то в третьем секторе шумно шуршали многостраничными поправками к закону о мелиорации засушливых земель Поволжья, в пятом ряду монотонно поскрипывали шарниры

представительского кожаного кресла, а на галёрке юный референт одного из фракционных лидеров с приглушённым стуком уронил пластиковый стаканчик из-под кулерной воды.

Депутаты откровенно зевали, поглядывали на светящиеся циферблаты швейцарских хронометров, украдкой проверяли биржевые котировки в смартфонах и прикидывали расписание вечерних авиарейсов. Кто-то вполголоса обсуждал бронь шале на Красной Поляне, кто-то раздражённо сетовал на сложности со стыковочными перелётами в Дубай через Стамбул. На персональных мониторах перед креслами мерцали таблицы голосования за бюджетные трансферты, в которые уже никто не вчитывался. Все мысли присутствующих были устремлены к новогоднему столу, астраханской осетрине, корпоративным банкетам и длинным январским каникулам. Меньше всего на свете присутствующие государственные мужи собирались вникать в очередное патриотическое воззвание рядового коллеги по палате.

Воздвиженский прекрасно понимал настроение зала. Он сам ещё сорок минут назад сидел в полутёмных кулуарах у мраморной лестницы, мелкими глотками потягивал минералку и лениво прикидывал, успеет ли его водитель Михалыч проскочить предновогодние заторы на Ленинградском проспекте до отправления вечернего «Сапсана». Но парламентская трибуна требовала принципиально иного регистра. Слушателя следовало не просто разбудить — его требовалось оглушить, ошарашить, выдернуть из сонного предпраздничного анабиоза хлёсткой словесной пощёчиной.

— Мы сами должны решать, что празднуют наши дети! — начал он громко, беря ноту ровно на полтона ниже своего обычного кабинетного баритона, чтобы чуткие мембраны трибунных микрофонов выдали бархатистый, органный резонанс, проникающий в самые дальние уголки правительственного президиума.

Несколько человек во втором ряду послушно подняли головы, но большая часть зала продолжала по инерции листать служебную документацию. Сосед слева, седовласый и тучный представитель аграрного комитета, увлечённо водил толстым пальцем по строчкам поправок к ветеринарному кодексу, время от времени что-то подчёркивая красным восковым карандашом. Воздвиженский внутренне усмехнулся: чиновничья инерция была ему родной, досконально изученной стихией. Первые дежурные фразы любого доклада всегда уходили в песок, оседая пылью на ковровых дорожках зала. Нужно было выложить козырь, ударить наотмашь, предъявить чудовищную, вопиющую культурную угрозу, мимо которой не сможет пройти ни один вечерний новостной выпуск федеральных телеканалов.

Он с сухим, отчётливым шорохом поддел ногтем край второго листа. Ноготь зацепил мелованную бумагу — этот звук в короткой тишине прозвучал удивительно резко, словно взвод курка на стрелковом полигоне.

— Сегодня мы стыдливо отводим глаза, когда в витринах центральных универмагов появляется чужой, навязанный нам заморский антураж! — повелительно продолжал Воздвиженский, плавно приподнимая подбородок и устремляя строгий взор поверх голов. — Сперва Санта-Клаус! В чужих коротких штанах, с подозрительно фальшивой бородой и в сомнительном колпаке!

Он сделал паузу ровно на три секунды, давая слушателям возможность мысленно примерить эти подозрительные штаны на отечественную духовную традицию. В зале послышались первые сдержанные смешки. Председательствующий в президиуме впервые за полчаса оторвался от служебного планшета.

— Завтра — Хэллоуин! С его гнилыми тыквами, нарисованной паутиной и плясками нечисти на костях благочестивых предков! Послезавтра, простите меня за прямоту, уважаемые коллеги… лепрекон!

Слово «лепрекон» прозвучало сочно, с густым, неподдельным гражданским омерзением, словно оратор только что случайно раздавил на трибуне ядовитую гусеницу. В седьмом ряду

седовласый член комитета по делам Содружества Независимых Государств вздрогнул, снял роговые очки и растерянно наклонился к соседу:

— Кого он сейчас назвал?

— Лепрекона, — шёпотом отозвался сосед, не отрывая взгляда от сложного сканворда на развороте вечерней газеты.

— А это ещё что за напасть?

— Карлик ирландский. В зелёном кафтане, с горшком фальшивого золота. В фольклоре сапоги тачает и чужие кошельки потрошит.

Воздвиженский мгновенно уловил этот шепоток чуткими динамиками президиума. Попал! Пустяк, брошенный в микрофон ради красного словца, на глазах изумлённой публики обретал монументальный вес государственной угрозы первой категории.

— Вот видите! — подхватил депутат, взмахнув правой рукой в сторону опешившего седьмого ряда. — Даже здесь, в святая святых отечественного парламентаризма, мы уже вынуждены произносить эти чужеродные имена! День святого Валентина с его розовыми сердечками из низкопробного картона, чужие карлики, чужие тыквы, чужие фетиши! Кто постучится в неокрепшие детские души послезавтра? Кто встанет между нашим маленьким гражданином и вековыми устоями отеческой любви и заботы?

Теперь зал слушал почти затаив дыхание. Кто-то прятал сочувственную усмешку в кулак, оценивая великолепный бойцовский напор оратора, кто-то одобрительно кивал, а председательствующий в президиуме даже забыл нажать кнопку регламентного предупреждения. Воздвиженский чувствовал себя гениальным дирижёром, поймавшим общую нервную струну.

Разумеется, Аркадий Борисович лучше любого присутствующего в зале знал истинную подноготную своего пламенного манифеста. На гигантских отапливаемых складах двух оптовых компаний в промзоне Шушар под Петербургом, формально оформленных на троюродного племянника его бессменного водителя Михалыча — скромного парня Славика, числившегося генеральным директором сразу трёх закрытых обществ с ограниченной ответственностью — в эту самую минуту лежало сорок тысяч красных полиэстеровых колпаков с белыми синтетическими помпонами, двенадцать контейнеров полимерных брелоков с теми самыми ирландскими гномами и семь паллет неликвидных валентинок. Всё это импортное добро, закупленное по дешёвке в портовых ангарах Гуанчжоу перед прошлым скачком валютного курса, намертво застряло на балансе, ежемесячно сжирая круглую сумму за аренду, коммунальные платежи и вооружённую охрану. Славик уже трижды звонил депутату в тихой истерике, умоляя списать неликвид по фиктивному акту утилизации после мнимого затопления. Но Воздвиженский денег на ветер выбрасывать не любил. Об этих мучительных коммерческих терзаниях знали лишь накладные строгой отчётности да тихий аудитор в кипрском офшоре. С парламентской же трибуны гремела незамутнённая, хрустальная государственная страсть.

— Наш ответ должен быть твёрд, монолитен и бесповоротен! — Воздвиженский навалился на парапет трибуны, сбившиеся листы хрустнули под его тяжестью. — Мы вернём российским семьям подлинный, родной, исконный праздник! Никаких компромиссов с заморской коммерческой мишурой! Только наш, российский, освящённый суровыми метелями Новый год! Наш великий Дед Мороз! Наша скромная, целомудренная Снегурочка! И главное…

Он замолчал, глядя в упор в холодный стеклянный зрачок центральной телевизионной камеры. Пауза звенела, как струна скрипки перед крещендо.

— …наши дети! Мы обязаны встать на защиту того, что им бережно кладут под ёлку!

Зал отозвался дружными, вполне искренними аплодисментами. Седовласый аграрий даже дважды стукнул ладонью по дубовой панели, выражая полное солидарное согласие. Воздвиженский аккуратно собрал листы, постучал пачкой по краю трибуны, выравнивая поля, и с величавым достоинством сошёл со ступеней.

В кулуарах к нему тут же метнулись репортёры думского пула с микрофонами наперевес, но депутат лишь многозначительно поднял раскрытую ладонь: комментарии будут позже, законопроект находится в стадии межфракционного согласования. В холле его перехватил коллега по комитету Гордеев, с лукавым прищуром похлопавший Воздвиженского по плечу:

— Ну ты загнул, Аркаша! Лепреконы! Где ты их откопал вообще? У меня тёща чуть валидол не выпила у телевизора!

— Учись, пока я жив, молодёжь, — снисходительно усмехнулся Воздвиженский. — Завтра все таблоиды только об этом трубить будут. Помяни моё слово.

В кармане пиджака настойчиво завибрировал телефон. На экране высветилось имя «Славик Шушары». Нажав отбой, Воздвиженский спрятал аппарат: разговаривать с перепуганным номиналом сейчас не имело смысла. В висках сладко пульсировала мысль: «Про лепреконов всё-таки услышали. Вечерний эфир на „России-24“ гарантирован. Теперь главное — не застрять в пробках на Тверской и успеть на вечерний поезд».

Когда служебная «Ауди» с завыванием сирены вклинилась в глухую предновогоднюю пробку на Тверской, в кармане Воздвиженского снова залился телефон. На сей раз депутат всё-таки снял трубку.

— Аркадий Борисович! — в ухо ударил сдавленный, полный неподдельного ужаса шёпот Славика из Шушар. — Я сейчас «Вести» в интернете открыл… Вы там с трибуны… Вы же сказали, что Санта-Клаусов и лепреконов запретить к чёртовой матери надо!

— Во-первых, не ори, — холодно процедил депутат, приоткрывая тонированное стекло и впуская в салон сырой московский воздух. — Во-вторых, не «к чёртовой матери», а в рамках защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Формулировки учи, коммерсант.

— Да какая разница! — чуть не плакал Славик. — У нас на третьем терминале сорок тысяч этих колпаков лежит! С белыми помпонами! Если завтра таможня или Роспотребнадзор нагрянут по вашей же наводке, нас же оштрафуют так, что мы без штанов останемся! А кредит в банке под залог товара взят! Аркадий Борисович, мы пропали!

— Слушай сюда, дубина стоеросовая, — Воздвиженский понизил голос до вкрадчивого ледяного шипения. — Когда я говорю с трибуны — это высокая государственная политика. Это создание информационного вакуума и управляемого дефицита. Панику не разводи. Никто твои склады трогать не посмеет. А если кто сунется — у них проверка затянется до лета. Коробки не вскрывать, товар не двигать. Сиди на складе тихо и жди моих указаний. Я в Питер еду. Завтра решим, как эти твои колпаки правильно упаковать. Понял меня?

— Понял… — всхлипнул Славик. — Только там ещё гномы ирландские…

— Гномов задвинь за паллеты с картоном. И не отсвечивай.

Депутат нажал отбой и с наслаждением откинулся на мягкий кожаный подголовник. Игра только начиналась.

Скоростной «Сапсан» домчал Аркадия Борисовича до Петербурга в привычном деловом полудрёме под размеренный перестук колёсных пар на стрелках и тихий шелест глянцевых страниц деловых еженедельников. За бронированным окном вагона бизнес-класса мелькали тёмные бескрайние леса Тверской и Новгородской областей, редкие огни глухих полустанков, занесённые мокрым липким снегом, и густая декабрьская ночь. В столице остался шумный паркет коридоров власти, бессмысленные протокольные рукопожатия и духота думских буфетов. Впереди лежал родной, сырой, продуваемый всеми ветрами Петербург.

В вагоне пахло свежесваренным зерновым кофе и лимонным освежителем воздуха. Проводник в накрахмаленном жилете дважды приносил депутату чашку зелёного чая, почтительно склоняя голову: «Чего изволите, Аркадий Борисович? Плед? Свежую прессу?» Воздвиженский лишь отмахивался. В голове крутился текст собственного выступления. Он прикидывал, сколько цитирований дадут информационные агентства к утру. Если тема пойдёт в топ

«Яндекса», можно будет сразу зайти к председателю комитета с инициативой создания специальной межведомственной комиссии по контролю за детской праздничной продукцией. А это — бюджеты, согласования, лицензирование, обязательная маркировка… При этой мысли привычная дорожная усталость приятно отступала, уступая место тёплому аппаратному азарту опытного номенклатурного волка.

Московский вокзал встретил депутата промозглым балтийским холодом, запахом дизельной гари и размытыми неоновыми огнями Лиговского проспекта. Служебная «Ауди» с заветными номерами серии «ААА» домчала его до Васильевского острова за какие-то двадцать минут, мягко рассекая мутную жижу на набережных Невы. За мостами высились тёмные громады академий и дворцов, редкие запоздалые прохожие кутались в капюшоны от колючего бокового ветра. Было уже далеко за одиннадцать вечера двадцать четвёртого декабря. Город готовился к католическому Рождеству: в витринах кофеен светились нарядные гирлянды, из дверей модных ресторанов на пешеходных линиях пахло корицей, жареным миндалём и горячим глинтвейном. Но для Воздвиженского этот вечер был лишь тяжёлым перевалочным пунктом перед решающим новогодним броском.

Тяжёлая парадная дверь старинного доходного дома на Среднем проспекте закрылась за ним с глухим чугунным звоном. Поднявшись на просторном бесшумном лифте на четвёртый этаж, Аркадий Борисович вставил массивный ключ в замок собственной пятикомнатной квартиры. Щёлкнули три оборота сложного английского ригеля. В прихожей пахло дорогим парфюмом, сухой кожей и той специфической, звенящей тишиной, которая годами копится в жилищах одиноких, обеспеченных и бесконечно занятых людей.

Из глубины квартиры, ещё до того как хозяин успел снять пальто, откликнулся голос — бодрый, лучезарный, телевизионный:

— Оставайтесь с нами!

Депутат вздохнул, втащил в прихожую портфель и закрыл дверь ногой. Был без двадцати двенадцать. Квартира встретила его так, как встречают дома, где живёт один человек и одна птица: просторной прохладой и тишиной с лёгким привкусом корма. Потолки здесь были выше, чем перспективы большинства соседей, а лепнина по углам помнила времена, когда в этих комнатах умели принимать гостей. Теперь гостей принимали редко, и только по делу.

Он стянул шарф, не снимая пальто, достал телефон и прочёл сообщение от помощницы, которая присматривала за какаду во время его отсутствия и теперь, вероятно, уже спала.

«Воду поменяла. Телевизор оставила. Под новости он начинает перебивать».

— Специалист широкого профиля, — проворчал Воздвиженский. — Психолог пернатых душ.

Когда он уезжал в Москву, телевизор в комнате птицы оставили включённым — чтобы той не было скучно, так выразилась помощница, и в этом слове «скучно» ему послышалась некоторая укоризна, будто в его доме скучать позволено было только ему.

Комната, где жил какаду, находилась в конце коридора. Белая птица с жёлтым хохолком сидела на высокой стойке рядом с клеткой, дверца которой давно стояла распахнутой за ненадобностью, и по тому, как она вытянула шею навстречу хозяину и вскинула хохолок веером, было ясно: ждала. Она успела услышать ключ, шаги, шорох шарфа и теперь сообщала всему миру, что готова к беседе.

— Ну, что смотрим? — спросил депутат, останавливаясь на пороге в пальто, с шарфом в руке.

— Оставайтесь с нами! — радостно ответил какаду.

— Я только вошёл.

— Прошу тишины, — сказал какаду голосом, до странности похожим на голос хозяина, и тут же, без всякого перехода, издал короткую трель, имитирующую телефонный звонок.

Депутат машинально проверил воду в поилке, постучал ногтем по краю кормушки и привычно осведомился, чему птица научилась за время его отсутствия. Выяснилось, что почти ничему: прежний репертуар, торжественный и довольно бессмысленный, пополнился только одним хрустальным звоном, вероятно, услышанным в рекламе, и тремя тактами какой-то песни. Он давно перестал удивляться тому, что птица разговаривает, и обращался с ней так, как обращаются с давним коллегой по комитету: не слишком вслушиваясь, но и не позволяя себе скрывать раздражение, если тот перебивал. Какаду перебивал почти всегда. Едва депутат собрался что-то добавить, он наклонил голову, прислушался к чему-то, и взгляд его стал отсутствующим и жадным, как у зрителя, которому показывают самое интересное.

Телевизор работал в углу, на тумбе. Шла передача об Антарктиде, которую какаду, судя по всему, смотрел с самого начала недели и твёрдо намеревался досмотреть до конца. Диктор с глубоким и несколько траурным голосом называл материк, называл море, называл температуру воздуха, которая вызывала у депутата, сидящего в пальто, невольное сочувствие к тем, кому приходится там жить. На экране тянулась ледяная кромка, и по ней, переваливаясь и толкаясь, шла цепочка пингвинов — серьёзных, деловитых, похожих на учреждение в полном составе. Один за другим они подходили к самому краю и срывались вниз, в тёмную воду. Каждый раз, когда очередная чёрно-белая фигурка исчезала из кадра, какаду подавался вперёд всем телом, вытягивал шею и замирал, будто пытался увидеть, что с ней сталось в глубине.

Депутат не смотрел. Он занимался пальто, возился с пуговицей и слышал лишь плеск, равномерный, как дождь на чужой даче. Для него это был обычный телевизионный шум, ни к чему не обязывающий и существующий исключительно для того, чтобы заполнять паузы между делами. Он вышел в коридор, повесил пальто, вернулся и взял пульт. Какаду сердито встрепенулся.

— Оставайтесь с нами! — сообщил он спине хозяина, когда тот повернулся к тумбе.

— Хватит с тебя географии, — проворчал Воздвиженский. — У меня от твоих пингвинов и так голова кругом.

В этой комнате он бывал реже, чем в любой другой, и всякий раз удивлялся тому, как легко она отнимает у него осанку. Здесь не было ни кресел для гостей, ни портретов, ни зеркал; здесь были клетка, стойка, мешок с кормом, тумба с телевизором и широкий подоконник, на котором летом лежали солнечные квадраты. Пахло семечками, тёплым пером и той особой пылью, которую поднимают птичьи крылья. Стоя на пороге, депутат всегда на секунду чувствовал себя гостем в чужом доме, и это раздражало его тем сильнее, что дом был его собственный. Помощница однажды назвала эту комнату «комнатой для разговоров». Он поправил её и заметил, что для разговоров у него есть кабинет, а здесь содержится птица. Помощница промолчала так красноречиво, что он до сих пор помнил это молчание.

Он убавил звук до слабого шороха, так что диктор ещё шевелил губами, а пингвины ещё шли и падали, но уже беззвучно, как в немом кино. Какаду недовольно переступил лапами. Он попробовал повторить последнюю интонацию диктора, торжественную и скорбную, — «Лёд, лёд…» — сбился на гортанный звук собственного удовольствия и занялся жердочкой: потянул её клювом, пощёлкал, снова потянул, как человек, который не знает, чем занять руки.

Депутат стоял посреди комнаты и впервые за этот день получал то, чего хотел: тишину. Он слушал её с наслаждением человека, который весь день говорил для публики. Что-то тихо звенело в люстре, где-то далеко за окном хлопнула дверца машины, в доме напротив мерцала чужая гирлянда — одна, зелёная, на одном окне. Он подумал, что вот сейчас сядет, выпьет чаю, расстегнёт воротничок и никому ничего не будет должен.

Из дальней комнаты, где стояли старинные часы, донёсся первый удар.

Какаду перестал возиться с жердочкой. Он медленно, всем корпусом, повернул голову к хозяину.

Часы били полночь не торопясь, с той важностью, которую старые вещи позволяют себе в присутствии тех, кто моложе их на век. Депутат считал удары машинально, как считают ступени на знакомой лестнице: четыре, пять, шесть. Между восьмым и девятым пауза вышла чуть длиннее остальных, и он, не придав этому значения, подумал только, что надо бы отдать механизм в починку. На десятом ударе он понял, что какаду не издал ни звука.

Это само по себе было странно. Птица, не упускавшая случая прокомментировать любой шорох, сидела неподвижно, как чучело, выставленное в витрине дорогого магазина, и смотрела на хозяина — не вбок, по-птичьи, одним глазом, а прямо, обоими, что какаду делают крайне редко и только с определёнными намерениями. На одиннадцатом ударе депутат хотел спросить, что с ней, и не успел: на двенадцатом в птичьих глазах загорелся свет.

Зеленоватый, мягкий, ничуть не зловещий, если вдуматься, — такой свет бывает у ёлочной гирлянды в тёмной комнате, когда лампочка уже на исходе. Он не бил лучом и не метался по стенам, но стоял в глазах ровно и ясно, как два маленьких окна в чужой дом. Депутат шагнул в сторону, чтобы поймать угол зрения, и свет не исчез. Он попытался объяснить его отблеском экрана: телевизор, убавленный до шороха, давал меняющиеся пятна — голубое, белое, серое, — и в какой-то момент на экране наступила тёмная ночная съёмка, где не было видно ничего, кроме тусклой ряби. Зелень в птичьих глазах осталась. Она не отражала экран. Она жила своей жизнью.

— Загадай три желания, — отчётливо произнёс какаду. — Я твоя волшебная лампа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.